

A black and white photograph of an interior room. The walls are covered in a dense, repeating floral or damask pattern. In the upper center, a framed picture hangs on the wall, depicting a nude figure in a reclining, curled-up position. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows. The overall mood is somber and artistic.

Илья Асриев

Спящий всадник

Илья Асриев

Спящий всадник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63470178

ISBN 9785005034496

Аннотация

Хроника безобидной эротической девиации романтического героя. История зарождения, чудесное исцеление и эротические приключения героя на этом пути.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	37
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Спящий всадник

Илья Асриев

Редактор Н. А. Новикова

© Илья Асриев, 2020

ISBN 978-5-0050-3449-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Предупреждение старой женщины – пробуждение Ансельма – картина в чулане – полезные размышления – появление Вероники

Я, слава богу, родился героем – и я смотрел, и конь тот был розовый, и на нем спящий всадник. Других мастей я не видел – возможно, дело в монохромном свете зелёной луны. Я вышел в город несколько вынужденно, т.к. мне совершенно не с кем было поговорить. Огненный дикобраз в зените взялся за дело всерьёз, и хвастливая архитектура совершенно перестала производить тень. Фиговый листок бродячей тучи висел сам по себе, т.е. безнадёжно. Закрыв глаза, я видел пустыню – пряные запахи и человеческие крики отлично сходили за миражи. Du gehst zu Frauen? Vergiß nicht wozu du gehst!¹ Элегантный бродяга, корчась на указующем персте, проглотил пилюлю с невозмутимостью полиглота – я оставил это на его совести. Выплёвывая шелуху чужих гласных, старуха расплавилась в густом воздухе, и слилась с толпой. Стыдно сказать, но я испытал затруднения с переводом. Таким языком в городской опере говорила поддельная тень

¹ Ты идёшь к женщинам? Не забудь, зачем идёшь!

местного Дракулы – теперь его неподдельные, отлично расплодившиеся потомки совершенно заплонили местный базар. Я прошёл бы мимо, но вмешалась судьба – в незначительной проповеди бродяги было упоминание о *kleine Frauen*, и я, повинувшись оскорблённому вкусу и данному свыше предназначению, не смог остаться безучастным. *Я опять хочу стать человеком*, выкрикнул бродяга мне в спину, и я оглянулся. Лохмотья смешались в памяти с декламацией – признаться, я слушал не слишком хорошо. Возможно и так, что я позавидовал умению красиво говорить о таких сложных вещах, как половые вопросы. Описать опытную старуху мне не удастся, т.к. она исчезла в толпе до того, как я набрал в грудь воздуха. Вернувшись домой, я тотчас принялся за эти записки. Предупреждаю, что мои воспоминания есть воспроизведение единственного частного случая, непригодного для обобщений или извлечения прямого опыта. Зато этот скромный ингредиент отлично подойдёт для некоего окончательного блюда, зреющего в котле неполной индукции. Когда-нибудь кушанье поспеет, и всякое свидетельство, какое выдаст в своём последнем слове сваренный заживо *частный случай*, будет обладать бесценностью музейного черепка, надолго пережившего того порывистого обывателя, какой, вследствие своей неловкости, произвёл его на этот свет. Всегда следует отличать частный случай от *случайного* обломка рутины, непригодного для свидетельства в свою

пользу. Именно здесь я прерываю общие рассуждения, и перехожу к обещанным частностям. Я обнаружил, что я несчастен – это имело обидные последствия. Допуская физиологическую вольность, я приравниваю зреющую обиду к процессу вынашивания плода, с тем особенным неудобством, что вызревающий во мне плод был совершенно неопределённого происхождения, т.к. не имел в предыстории ничего, что сошло бы за зачатие. Само же созревание, исход которого обещал смутные неприятности, сопровождалось глумливой отчётливостью второстепенных деталей – например, женщины при знакомстве называли мне несуществующие имена, такие, как *Виола*, *Серпентина* или *Лилия*, и я не мог избавиться от чувства, что меня попросту водят за нос. Кроме того, у меня завелась скверная привычка выслеживать одну предполагаемую даму, имени которой я не знал, но живо представлял себе её образ, вернее, некоторые подробности её телосложения. После удаления фантазий в описании остаются узкие плечи, крепкие откровенные бёдра, и совсем небольшая грудь с блуждающей меткой родимого пятна – эта непрочная, легко ускользающая деталь представлялась мне крайне важной. *Ты можешь, наконец, вернуть себе имя твоего деда*, сказала на прощание моя мать с некоторым высокомерием – возможно, она полагала у меня унаследованный от отца аптекарский пуризм в вопросах мелочной чести. На похоронах матери я плакал

детскими слезами, вкус которых успел к этому времени позабыть, но вспомнил сразу же, как только первая капля доползла до моих *судорожных губ*. Несколько комков земли, брошенных осиротевшей рукой в материнскую могилу, произвели глухой деликатный стук, и с этого мгновения я остался совсем один – неприятнейшее, знаете ли, ощущение. Квартира, в которой я уединённо прожил несколько последних лет, располагалась крайне удобно – ровно тысяча пятьсот неспешных шагов до игрушечной песчаной бухты, украшенной полудюжиной гранитных обломков, и с десятков томительных минут до прекрасного запущенного парка, который я, по некоторым признакам, считал наполовину своей собственностью. Я мог бы остаться здесь и дальше, но после практичных раздумий решил перебраться в опустевшую в старом городе квартиру матери, поближе к собственным детским слезам и подальше от слезящихся глаз дотошного паркового служителя, уже приметившего мою манеру высматривать в сумерках собственные миражи. Старый город, состоящий из десятков вечно пересекающихся улиц, был даже более удобен для преследования галлюцинаций – люди обращали друг на друга мало внимания, шум от тысяч ступающих по брусчатке подмёток отлично скрывал шаги одинокого наблюдателя, и множество теней давали отличные возможности для деликатного человека, не желающего торчать, что называется, на виду. Я быстро привык к новому

месту – просроченные фантомы детства потеряли былую значительность, и совершенно мне не досаждали. Я много гулял по старому городу, выбирая для прогулок вечера, когда густеющие на глазах сумерки, вопреки оптическим правилам, делали воздух всё более прозрачным, и разломы на стенах столетних домов становились видны так отчётливо, словно их изготовили специально для моего праздного взгляда. Главным *предметом*, занимающим мои мысли во время прогулок, была картина, написанная много лет тому назад неким господином со сложной этнической фамилией, вспомнить которую без нечаянных искажений я уже не смогу. Эта картина, пережившая строгий отбор жизненных перипетий, была, пожалуй, единственной нескромной частью моего скромного наследства. Изредка это обстоятельство упоминалось в семейных разговорах – припоминаю, что замысловатая фамилия могла быть истолкована как *человек надежды*. Картина обнаружилась в чулане – отлично сохранившаяся от пыли благодаря бережной упаковке, крытая вечным блестящим лаком и обрамлённая вычурной музейной рамой, придающей находке какой-то аукционный привкус. Женщина на картине была замечательно хороша – её маленькие груди, отличной формы и цвета, были прописаны художником с тщательностью настоящего гурмана. В моих прошлых вынужденных наблюдениях за обнажёнными женскими телами я не придавал груди какого-то особенного

значения, но некоторые сбои анатомии подмечал помимо воли, отчего чувствовал неловкость и принуждал себя к компенсирующей нежности. Потакая моему вкусу, груди натурщицы были не больше крупного яблока и широко отстояли одна от другой, отчего каждая выглядела отдельным произведением неспешной эволюции – художник нарочно подчеркнул их самостоятельное существование, придав одной из них некоторую, как бы случайную, примятость. Человек надежды владел хитрыми приёмами парадоксальной композиции – оба соска, направленные якобы произвольно, смотрели точно на предполагаемого зрителя, и я, взявшись за разоблачения трюка, не сумел избежать удвоенной пристальности ловко сфабрикованного взгляда. Освещение внутри картины было устроено так, чтобы свет от невидимого солнца смешивался со светом светильников именно на женской груди, вернее, на том пятне, которое разделяло эту грудь надвое. Легчайшие тени, образованные застывшей интерференцией прошлых лучей, придавали картине великолепный живой привкус – признаться, мне всегда хотелось дотронуться до этой груди, пренебрегая приличиями и правилами музейных хранилищ, несомненно распространяющимися в этом случае и на мои комнаты. Я представлял, как давно погасший солнечный свет поощрительно касается моей руки, мысленно протянутой к соску расположившейся в будуаре женщины, и стыдливо сдерживаясь от несколько

фетишистского порыва, оправдывал себя тяжестью выбора между правой грудью, совершенно ничем не потревоженной и сохраняющей изумительную правильность формы, и левой, чуть искажённой, под которую художник, преследующий свои особые цели, подложил неестественно вывернутую кисть полноватой руки. Руки женщины не слишком удались, и я смотрел на них вынужденно, т.е. без удовольствия. Я уверен, что они были написаны наспех, без той скрытой страсти, которая выдает пристальный интерес к предмету, и можно было предположить, что будь мастер более свободен в своих предпочтениях, то я не нашёл бы никаких рук, кроме руки входящего Ансельма, держащей странную тонкую тень – то ли прогулочную пижонскую трость, то ли жокейский хлыст. Мода расхаживать с жокейским хлыстом в руке осталась далеко позади того времени, когда *человек надежды* писал свою картину, но я допускаю, что ему просто необходима была какая-то вольность в деталях, подчёркивающая вечность сюжета – лежащая на роскошном ложе натурщица и сам автор, входящий в будуар с приветственным букетом собственных фантазий. Назвать своего подставного жокея именем моего деда было не более, чем кокетство артиста – я прекрасно знал, что главный персонаж любой картины всего лишь очередная маска, натянутая художником на собственный, давным-давно заготовленный манекен. Лицо входящего частично покрывала тень – вскользь

задевающие его лучи были второсортными, не дающими того замечательного сияния, каким была залита фигура женщины. Особенное освещение подстрекало к развитию действия, и я готов был подождать, пока моё воображение впитаёт замысел живописца полностью, и выдаст некое продолжение, несомненно уже существующее, но скрытое до поры за завесой времени, за решёткой условностей и за стеной аскетического воспитания, которое заставило моего деда отправить замечательную работу *человека надежды* в плен тёмного чулана. Я знаю, что моё воображение, будь оно спущено мной с цепи, тут же взялось бы за недостающие, на его вкус, части картины – я имею в виду ягодицы натурщицы, великолепные уже оттого, что я не мог их видеть, и даже не был уверен, что их видит входящий в будуар любовник. Представляя себе эти выдуманные ягодицы, я едва избегаю соблазна записать быстрый шепоток моего воображения на бумагу, и выдать записанные слова за собственные – но боюсь, что это внесёт в мои воспоминания какой-нибудь неприличный постмодернистский привкус, и я без сожаления перехожу к описанию других, менее опасных частей тела прекрасной натурщицы. Её руки, непропорционально полные, с крупными кистями, с сильными на вид пальцами и с многочисленными браслетами на запястьях были самой неудачной деталью картины. Последнее упоминание – правая рука лежащей женщины указывала на невидимое

зрителю зеркало, в котором должен был отразиться входящий наездник, и эта рука, навечно застывшая в удивлённо-радостном жесте, служит функциональным оправданием для небрежности, допущенной автором в смысле пропорций. Такая сильная бесполоя рука могла принадлежать кому угодно, и послужить предметом отдельных рассуждений, не предусмотренных узкими рамками моих интересов – но несомненно, что и удивление, и радость, высказанные этой рукой, были неподдельными. Я позволю себе пропустить некоторые детали будуара, старательно изображённые художником – отчасти из-за их малой значимости для моих целей, отчасти из-за моей умственной лени, не позволяющей мне стать настоящим наблюдателем, бесстрастным и точным. Увы, но я навсегда останусь лишь беспощадным эксплуататором собственных торопливых впечатлений, основанных на произвольном толковании увиденного. Так, ноги натурщицы с первого взгляда показались мне взятыми наугад, и скорее всего, они принадлежали вовсе не ей, а женщине много полнее, и в дальнейшем я уже не мог заставить себя переменить своё мнение. Великолепный живот, выпуклый, но совсем не отвислый, волновал меня куда больше этих неуместных ног, и я пробегал их взглядом так быстро, как только мне позволяла стремительность моего взгляда, и выигранное таким образом время уделял роскошному животу натурщицы, этому вместилищу несуществующего

ещё плода, ждать которого, судя по хищному взгляду входящего в будуар мужчины, оставалось уже недолго. Этот бесстыдно выпяченный живот бесспорно указывал на то, что изгиб невидимой мной спины лежащей женщины был таким плавным и глубоким, что один его вид должен был пробуждать в визитёре неимоверно сильное любовное желание. Я подозреваю, что *человек надежды* обладал достаточно свободной фантазией, чтобы изобразить это желание с помощью какой-нибудь особой гримасы, но не сделал этого – более того, в лице входящего была отрешённость, уместная для мастера, почуявшего инструмент. Его взгляд, направленный на предполагаемое зеркало, содержал в себе странную для нетерпеливого любовника уверенность, словно он точно знал назначение встречающего его изображения, и это назначение, или даже предназначение, было не просто предназначением привычной любовницы, ждущей своей законной порции ласк – в этом взгляде было что-то ещё более хищное и глубокое, уходящее корнями в самые тёмные уголки души явившегося в будуар счастливец. Я использовал свою природную способность представлять окружающие предметы с закрытыми глазами, и с точностью восстановил ход лучей, идущих от тела натурщицы к зеркалу, и дальше, к глазам Ансельма, которым, собственно говоря, и предназначался этот композиционный трюк. Меня посетило желание закрепить результаты моих

наблюдений в каком-нибудь оптическом чертеже, но я с сожалением признал, что такой набросок неизбежно выродится в самодельную картину – вернее, в неумелую подделку, так как любые способности к рисованию у меня отсутствовали совсем. По несостоявшемуся чертежу выходило, что входящий Ансельм мог видеть в зеркале только частичное отражение спины поджидающей его женщины, а именно ту её таинственную часть, где и располагался предсказанный мною великолепный плавный изгиб, эдакий геометрический изыск, нарисованный природой по эскизу моего собственного воображения. Отражение у верхнего края зеркала должно было обрываться немного выше того места, где отдельные отражения ягодич натурщицы сходились воедино, т.е. как раз там, где её спина выгибалась согласно позе, которую от неё требовал художник, а снизу, у другого края зеркала, ограничиваться тончайшей батистовой накидкой, укрывающей лишние, последний раз упоминаемые мной ноги, и доходящую кое-где до самого верха полноватых бедер, которые я уже не относил к ногам, а считал вполне самостоятельной частью тела, наряду с тёмной складкой, ведущей в лоно натурщицы, ловко изображенной художником в виде раскинувшей крылья летучей мыши – тончайший живописный намёк на inferнальную природу поселившейся в этом самом намёке потусторонней бездны. Такие замысловатые приёмы использовались художниками прошлого, к которым я без

колебаний отношу и человека надежды – он, несомненно, был прекрасным мастером своего дела, и то, что он решился на изображение своих страстей, пусть даже скрытых поддельным портретным сходством лица героя картины с лицом моего деда Ансельма, внушало мне уважение, доводящее меня до ребяческого желания как-то подражать чужой смелости. Этой самой смелости мне долго недоставало – даже мысленно я избегал возвращаться к лицу натурщицы. Возможно, всё таинственное, что мне хотелось бы видеть во всей этой суматохе с картиной, и заключалось в этом невыносимо прекрасном лице – это при том, что ничего особенного в нём не было. Среди психиатров средней руки бытует такое мнение, охотно ими насаждаемое, что каждый человек рождается со встроенным в него идеалом существа противоположного пола – что-то вроде гуттаперчевой маски, под которую можно, при некотором усердии, подогнать всё, что угодно. Такой психиатр, обратись я к нему со своими глупостями, тотчас бы вывел очевидную для него банальность, и оказалось бы, что лицо натурщицы соответствует моим врождённым представлениям о женской красоте, что именно такое лицо снилось мне в тяжёлых подростковых снах, что вот эта линия носа и есть как раз то, что мне нужно. Пожалуй, я выслушал бы такого аналитика без возражений – я никогда не оспариваю *чужого* вранья. Но дело в том, что я прекрасно знаю, какие женские

лица мне нравятся, и могу без запинки перечислить все приметы таких лиц, в достаточном количестве мелькавших передо мной ранее – умеренно вздёрнутый нос, маленький подбородок, аккуратный небольшой лоб и малозаметные глаза, не отвлекающие моё внимание лишними фантазиями, которые тут же посещают меня при виде слишком уж выразительного женского взгляда. Цвет волос, так увлечённо выдаваемый самими женщинами за важную примету, волновал меня мало, и гораздо больше меня беспокоило то, как уложены женские волосы, и вид женских волос часто вызывал у меня неуместные видения – вроде стога сена, облитого полуденным солнцем, или проносющейся по ипподрому кобылы с развевающейся невероятной гривой, или витрины парфюмерной лавки, в которой почему-то выставлена голова в рыжем заплётённом парике и из-за трещины в стекле отчётливо и тревожно пахнет каким-то старомодным лекарством. В прошлом я часто ловил себя на том, что лицо какой-нибудь женщины, с которой я поддерживал отношения длительный по любым меркам срок, изучено мной плохо – я не помнил формы её носа, цвета глаз и линии бровей, но всегда с большой точностью мог описать её рот – блеск зубов, мелькнувший во время разговора, улыбку от шутки, или тонкую вибрацию губ перед последним мгновением прерываемого молчания. В этом неудобном свойстве моей капризной памяти было и одно явное удобство – например, я мог без особых

потерь перенести интерес с одного лица на другое, сохранив при этом неизрасходованные чувства, несказанные слова и небольшие знаки внимания, предусмотрительно закупленные впрок в магазине на том углу Королевской улицы, где модные лавки устраивают отличные воскресные распродажи. Конечно, я встречал лица, которые затрагивали какие-то *особые струны моей души*, но и эти лица я не мог запомнить как следует – однажды я прикоснулся к пышным волосам женщины, стоящей у ярко освещённой витрины на ночной улице, и она улыбнулась мне натянутой нервной улыбкой, какой улыбается уставшая от внимания опытная сестра милосердия, окружённая больными, ждущими своей очереди на какую-нибудь важную лечебную процедуру. Этот порыв привёл к общему смущению – обнаружилось, что я трезв и совершенно не опасен. Лицо, заставившее меня пойти на невинное нарушение приличий, исчезло из моей памяти навсегда, и я никогда не смогу вспомнить, что в этом лице так привлекло моё порывистое внимание. Как человек довольно сообразительный, я мог и без посторонней помощи предположить, что в моих приключениях с чужими лицами были явные признаки навязчивого состояния, в каком пребывает любой увлечённый кладоискатель, способный тратить лучшие годы своей жизни на поиски всяких сомнительных сокровищ, но совершенно неспособный внятно объяснить, что же он намерен делать со своей маловероятной находкой в том

случае, если этот случай всё-таки подвернётся. Будь я настоящим охотником за сокровищем, я действовал бы совсем по-другому. Вместо бесцельных прогулок по плохо освещённым улицам, вместо одиноких созерцаний ленивых волн, вместо торопливых обменов взглядами со встречными женщинами я предпринял бы что-нибудь более полезное – к примеру, я постарался бы составить словесный портрет разыскиваемого лица, и даже заказал бы у какого-нибудь ловкого уличного художника карманную копию, для моего собственного удобства, чтобы я мог сличать эту копию с теми многочисленными оригиналами, что постоянно попадались мне на глаза. В конце концов, мои средства позволяли нанять для дела профессионального соглядатая, из тех, чьи конторы располагались в подозрительных окраинных кварталах – я имею в виду не настоящие окраины, а те, что были окраинами лет сто тому назад, но их обитатели с тех пор не пожелали заметить, что разбухший город давно расположился далеко за их спинами. Однажды мне пришлось побывать у одного из таких специалистов по выслеживанию неверных жён – я стал персонажем одного неприятного недоразумения, приведшего к отвратительной уличной потасовке с участием обманутого кем-то мужа, двух-трёх его добровольных помощников, какие всегда находятся в городе, одной крикливой немолодой торговки и моим собственным, разумеется, абсолютно случайным, присутствием. Несчастный рогоносец набросился на меня

с бранью и угрозами, опереточная беспомощность которых не помешала мне испугаться – его крепкие плечи и голая голова наводили на мысли о большой физической силе, и я попытался избежать столкновения, или попросту говоря, сбежать. Но какие-то подлые зеваки ловко схватили меня за платье, и я пережил несколько неприятных минут – мне достались такие сомнительные трофеи, как изорванный пиджак, звон в ушах от нечеловеческого визга торговли, несколько довольно чувствительных тумачков и неприятнейшая роль пойманного на чужом воровстве бедолаги. Уже у себя, кое-как отдышавшись и приведя испуганные мысли в порядок, я осматривал поруганный пиджак, собираясь отправить его в починку, и обнаружил в кармане визитную карточку некоего господина Бруно, рекомендовавшего себя в качестве ликвидатора нежелательных последствий всяческих бытовых инцидентов. Мои подозрения, что ловкач Бруно как раз и был одним из схвативших меня негодяев, усилились при посещении его конторы – пожалуй, я легко признал бы в нём одного из нападавших в случае, если бы было затеяно настоящее полицейское расследование. Но я не стал искушать судьбу сослагательными самодельными предположениями, и малодушно уплатил требуемую невероятную сумму в обмен на твёрдое обещание навсегда исключить меня из длинного адюльтерного списка, который неутомимый

Бруно, по его словам, представлял любознательному мужу дважды в месяц – именно эта въедливая подробность окончательно убедила меня в необходимости расстаться с деньгами. Трудно поверить, но я нисколько не усомнился в деловой порядочности этого второсортного шантажиста, т.к. его пропитание очевидно зависело от его репутации. Такой Бруно, несомненно умеющий гибко распорядиться подвернувшимися обстоятельствами, мог бы сильно облегчить мои собственные поиски – в том, разумеется, случае, если бы я решил взяться за дело по-настоящему. Но я, напомню, предпочитал деловому подходу романтическое безделье, и уже одно это говорит о растрёпанном состоянии моих нервов, о неопределённости моих целей, о туманности моего будущего – полный набор поддельных метеорологических признаков неподдельной житейской бури. Сейчас я ловлю себя на желании как-то оттянуть неизбежное описание некоего лица – лица на картине, лица в моих непрочных уличных галлюцинациях, лица, всплывавшего из омутов моих предутренних снов отдельными частями, которые затем, преодолев пелену пробуждения, преследовали меня так явно, что мне становилось жутко от фотографической точности представленного образца. Лишая мои воспоминания полезной интриги, а себя самого возможности понежиться под лучами собственной таинственной многослойности, скажу, что всё это было

одно и то же лицо, так что я просто опишу лицо натурщицы, как самое явное из всех моих видений, и пусть воображение как следует поможет мне в этом деле, т.к. и в моих дневных воспоминаниях, и в ночных снах, и в частых, но оскорбительно коротких состояниях *дежавю* это лицо являлось мне не полностью, а только той своей частью, которая могла быть подана особенно выгодно в существующем освещении. Конечно, принимая на себя ответственность за сведение всех этих упомянутых лиц в одно, я прекрасно понимал недостаточную обоснованность своих предположений, и лицо преследуемой дамы могло оказаться совсем другим, совершенно непохожим на лицо натурщицы, или вообще никогда мне не открыться – это обычное дело для навязчивых галлюцинаций, имеющих скверную привычку прятать свои истинные черты. Я так и не смог бы приступить к подробному описанию этого лица, если бы не предусмотрительность *человека надежды*, давшего картине имя. Картина называлась *Ансельм и Вероника* – простое, ясное название, неглубокое двойное дно которого содержало лишь невинный намёк на дружескую близость художника к моему предку. Будь имя безмятежно лежащей в будуаре женщины не таким обыденным, я, пожалуй, так и не осмелился бы взяться за такое сложное для меня дело, как описание галлюцинации – представляю, как имена *Розалина, Сильвия и Серпентина*, объединившись в шайку, насильственно лишают меня остатков решимости

вывести призрака на чистую воду. Общеизвестно, что имя подобно судьбе, и названное вслух, оно тут же придало моей истории совершенно другое, уже ничем не угрожающее направление – от сложной перспективы изогнутого коридора маячившей впереди лечебницы, украшенной ханжескими кованными витражами, к внятному бытовому положению неудачливого воздыхателя, способного многое порассказать о лице своей пассии, будь он даже разбужен посередине самого изысканного эротического сна. Не имея большого опыта в описании человеческих лиц, я прибегну к тут же изобретённому мной способу – вначале последует впечатление, затем попытка его обосновать с привлечением отдельных элементов исследуемого лица, которые теперь, благодаря тщательной кисти *человека надежды*, всегда находятся у меня под рукой. Под впечатлением я имею в виду не что-то безотчётное, что трудно бывает внятно объяснить даже при дружеских расспросах, а именно предполагаемую пользу, с которой можно было бы употреблять это лицо для извлечения давно застрявших в моей голове заноз – и все они, разумеется, были далеки от обыкновенной порнографии. Лицо натурщицы на первый, совсем беглый взгляд, было слегка скучным, т.е. не содержало никакой видимой тайны, без которой немислима общепринятая эротика. Даже будь я озабочен гигиеническими вопросами накопившегося полового напряжения, в силу воздержания

или особенного питания накануне, я прошёл бы мимо такого лица без всякого азарта – оно не сулило скорого избавления от избытков страсти. Слишком высокий лоб не оставлял надежд на молниеносное удовлетворение, и даже совершенно неопытный ухажёр немедленно сообразил бы, что без длинных разговоров в этом случае не обойтись. Кроме того, в уголках губ притаилась разоблачительная усмешка, заранее приготовленная для такого *торопыги* – предупредительный сигнал опасности, таящейся в тяжёлых последствиях насмешек такого рода. Я искал бы другое лицо, обладательница которого обошлась бы мне не так дорого – я имею в виду не ту пошлую цену, которую не принято обсуждать вслух, а возможные психологические издержки, истинную стоимость которых узнаёшь только тогда, когда окончательный счёт уже оплачен. Я легко могу представить себе, как *напряжённый* в половом отношении искатель приключений предпринимает торопливую атаку на это лицо – заученные комплименты, бегающий вверх и вниз взгляд начинающего попрошайки, предательская вчерашняя пыль на простоватых башмаках, и неудобный грушеобразный ключ от гостиничной комнаты, подпрыгивающий от нетерпения в оттопыренном пиджачном кармане. С первого взгляда мне видна вся бесполезность его усилий, и дело тут даже не в том, что приглашение посетить гостиницу осталось бы без ответа – даже после

такого невероятного посещения счастливцу не удалось бы избавиться от этого своего напряжения, и, скорее всего, оно усилилось бы примерно втрое, подогреваемое отсутствием малейших признаков поощрения, бедностью обстановки, шумами за непременно тонкой стеной и прочими натуралистическими неудобствами, никак не совмещающимися в моем воображении с этим слегка насмешливым лицом. Поверьте, после такой победы несчастному победителю просто расхотелось бы жить – немедленный уход под защиту строгого монастырского устава был бы для него наименьшим злом. Две-три такие победы, и вы человек конченный – я имею в виду невероятно тяжёлую пустоту, которая достанется такому победителю в качестве трофея и которую придётся таскать за собой всю жизнь, т.к. камера хранения для такого рода багажа предусмотрительно расположена уже перед самым входом в чистилище. Я решительно забраковал это лицо для употребления в беззаботном эротическом смысле, кроме случаев совсем уже безвыходных, вроде длительных переходов через пустыню, каникулярных вояжей на оторванном от остальной земли куске льда или случайных ночёвок на необитаемых каменистых островах – трудно представить себе недорогую гостиницу, сдающую номера на час и расположенную где-нибудь в таком месте. Всё сказанное вовсе не означает, что лицо натурщицы не содержало никакой эротической привлекательности,

но оно было бесполезным для стремительных, почти медицинских целей, с которыми по улицам города бродят тысячи ловцов быстрого счастья. Но в другом случае, во время неспешной послеобеденной прогулки или вечернего путешествия по привычному маршруту, я вполне мог бы заинтересоваться таким лицом – признаться, оно вызывало у меня любопытство. То обстоятельство, что я уже видел Веронику полностью обнажённой, ничуть не мешало мне представлять её в каком-нибудь приличном платье – неудачные ноги скрыты подолом выверенной длины, маленькая грудь свободно порхает в клетке модного высокого лифа, линия бёдер и отличная талия подчеркнуты специальным портняжным приёмом, позволяющим имитировать отсутствующий корсет. Руки одетой Вероники тут же приобретали вполне приличный вид, чему способствовали предполагаемые скромные бусы в тон имеющимся нескромным браслетам, полупрозрачная накидка на плечах и обязательные плавные жесты – всё это придавало этим рукам необходимые признаки её пола. Я уверен, что немедленно захотел бы услышать её голос, и мне пришлось бы проявить какую-то особую ловкость, чтобы вынудить её заговорить – например, я мог бы притвориться безнадёжно хромым любителем оперы, нуждающимся в подсказке самого короткого пути к зданию театра, или подслеповатым путешественником, потерявшим спасительный путеводитель, или отставным ангелом средних

лет, мечтающим передать кому-то на хранение свои изрядно подержанные крылья. Не сомневаюсь, что при таком ловком подходе я получил бы ответ, пусть даже короткий и незаинтересованный, но непременно вежливый и спокойный, и в придачу полагался бы также учтивый взгляд – вот тут-то и началось бы настоящее представление, главная прелесть которого была бы в его скоротечности и непрактичности, так как уже в самом начале разговора, едва только приступив к рекламе придуманных по случаю крыльев, я бы уже знал, что через пару коротких мгновений уйду прочь неспешной безразличной походкой, подсмотренной мной у наиболее удачливых кинематографических героев. И всё-таки, уходя, я думал бы о ней с любопытством, имея в виду всякие неизвестные мне мелочи – покрой её белья, вкус её губ, запах её кожи, и те её возгласы, которые мне никогда не суждено бы было услышать, т.е. весь набор тех прекрасных и соблазнительных тайн, которые одним своим существованием иной раз делают моё собственное существование совершенно невыносимым. Но мне ни за что не удалось бы представить себе, как эти тайны падают к моим ногам – такова затейливая природа эротических миражей, немедленно исчезающих от слишком пристального взглядывания в их волнующие глубины, ровно наполовину расположенные в преисподней. То, что я уже знал её имя, ничуть не мешало бы мне насладиться многообещающей неопределённостью ситуации, так как

такое знание не может считаться истинным до тех пор, пока имя не будет произнесено вслух её собственными губами – эдакая двусмысленная простыня белого флага, выброшенная из самого чрева подсознания. Я настаиваю, что моё любопытство, направленное на её нижнее бельё, обязательно было бы совершенно невинного свойства, и для удовлетворения такого любопытства не было бы нужды заглядывать под подол – хватило бы незаметного порыва услужливого ветра, или бьющего насквозь бесстыдного солнечного луча, или неожиданного зеркального фокуса, исполненного скромной тротуарной лужей, возомнившей себя моим сообщником. Увы, такого рода любопытство крайне непрочно, и, подобно другим непрочным вещам, способно исчезнуть без следа ещё до того, как для него будет подано первое блюдо – величественный слуга с серебряным подносом обнаружит лишь стыдливые вмятины на стульях гостей, созванных для долгожданного пиршества чувств. Сотни раз я попадал в неприятное положение, как бы внутрь одного и того же обидного скетча, который разыгрывали меж собой моё собственное воображение, букет вездесущих гормонов и искусство тех портных, что консультируют фабрики по массовому производству модного платья – женское тело, проявляющееся наяву по мере исчезновения одежды, теряло свою волшебную привлекательность, и даже приобретало отталкивающие черты, особенно в тех случаях, когда обманутыми оказывались самые смутные

требования моего анатомического вкуса, к каковым я отношу трудно измеряемые косые пропорции, два-три не поддающихся описанию изгиба, расположение теней в кое-каких углублениях и прочие малозаметные, но крайне важные для меня вещи. В случае с Вероникой я, пожалуй, не стал бы рисковать, т.е. удовлетворился бы единственным разговором, что позволило бы мне избежать позднейшего разочарования, которое уже сулили сомнительные щиколотки её часто упоминаемых мною ног, и таким малодушным образом сохранить её образ для частного употребления в своих дальнейших целях, которые не могут быть названы тут точно, т.к. бывают крайне переменчивы – от безнадёжных поисков зрительного идеала на зелёной стене спальни комнаты до судорожных вздохов перед самым пробуждением от счастливого, но крайне хлопотливого сна. Уверяю вас, что моё любопытство не переросло бы в ту известную *жажду познания*, какой частенько оправдываются ухажёры, застигнутые врасплох неудобными вопросами. Я до сих пор полагаю, что женщина, предназначенная к тому, чтобы её *познавали* любопытствующие, должна быть с виду подобна завлекательной книге, с удобно расположенным оглавлением и неким введением, кратко излагающим всё остальное содержимое – лицо Вероники, посредством своей насмешливой надменности, напоминало мне о существовании особых, штучно изготовленных изданий,

изначально запертых вполне надёжно, и отдающих свои сокровища лишь тем счастливым, какие обладают редким, точно подходящим ключом. Возможно, будь я значительно моложе, я не стал бы задумываться над различиями между завлекательным томом с картинками, расположенным на общедоступной полке в городской читальне, и неким фолиантом, покрывшимся пылью от продолжительной неприкосновенности – но теперь, набравшись кое-какого опыта, я безошибочно определяю степень *познаваемости* попадающихся предметов, встреченных людей или собственных торопливых мыслей. Но будь я, всё-таки, значительно моложе, то непременно поддался бы соблазну утвердить себя в своих глазах при помощи этого лица, удобного для попыток такого рода – в случае вероятной неудачи практически отсутствовали бы потери для самолюбия, а в случае маловероятного успеха это самолюбие получало бы отличную пищу для своего роста. Пожалуй, я даже немного сожалею о своей вынужденной житейской мудрости, которая не даёт мне даже в мыслях примериться к заведомо сложным предприятиям, заставляющим нас попусту тратить время – то самое время, которое можно с толком употребить на тысячу полезных дел, вроде моих собственных воспоминаний. Но что-то в лице Веронике подсказывало мне, что такое предприятие было бы не совсем уж безнадёжным – в её глазах, несомненно, приплясывали такие чёртики, какие выдают авантюристов

всех мастей, и часто встречаются во взглядах опытных лабораторных экспериментаторов. Была ли она настолько опытной, чтобы обратить внимание на ухищрения храброго юноши, или даже неуверенного подростка – мне никогда не удастся этого узнать, но я уверен, что попытаться, всё-таки, стоило. Дважды предположив в исследовательских целях сильное уменьшение моего возраста, т.е. побывав в собственном прошлом, я мог бы совершить и небольшое путешествие в будущее – конечно же, в компании лица Вероники. Сделав небольшую поправку на нереальность такого путешествия, я оставил бы Веронику такой, какой она представлена на картине, а себе самому щедро накинул бы лет двадцать – немолодой, прилично одетый горожанин, уже успевший выгодно продать оставшиеся от матери безделушки и оттого небедный, имеющий кое-какие изыскательские интересы, всё ещё поглядывающий по сторонам в поисках женского лица, на котором мог бы отдохнуть его уставший от разочарований взгляд. Нет никаких сомнений, что в этом предполагаемом случае лицо Вероники немедленно привлекло бы моё внимание – в линии её заметного античного носа, в уверенном подбородке, в глубоко посаженных глазах и родимом пятне на левой щеке было какое-то солидное спокойствие, какая-то точно отмерянная сонная умиротворённость, граничащая с равнодушием к окружающим, т.е. все необходимые аксессуары для предполагаемой спутницы предполагаемого

меня самого. Я захотел бы пройтись с ней по бульвару, или отобедать в приличном ресторанчике в глубине городского сада, или открыть для неё дверь шустрого таксомотора после посещения театра, когда мягкая темнота летней ночи сулит ещё множество приятных, но уже необязательных радостей. Возможно, я даже готов был бы приложить некоторые усилия для того, чтобы наше знакомство состоялось, но надо признать, что всё это не имело бы никакого отношения к чувственности – скорее, тут сработал бы вечный соревновательный инстинкт, чутко озирающийся на чужое мнение, на блеск завистливых глаз, на наклон головы опытного метрдотеля, распределяющего лучшие ресторанные столики так, чтобы наиболее значительные пары всегда оказывались на виду. Конечно, я не искал бы выгоды – она сама свалилась бы на меня, как вполне заслуженный приз, и я обязательно запомню это на то будущее, которое когда-нибудь наступит своим чередом. Эти мои самодельные путешествия во времени, в конце концов, оказались очень кстати – я нашёл неожиданное применение для Вероники и в моём настоящем, т.е. мои мысли, зачерпнув немного из пропасти подсознания, обратились к непреложному факту моего одиночества. Воображаемый променад пожилого солидного господина с великолепной Вероникой навёл меня на отличную мысль – такая пара, несомненно, могла быть связана тесными узами, например, узами супружества. Все недостающие элементы,

которые я выискивал в лице Вероники, вроде недостаточно насыщенных эротических оттенков, или пригодности для поверхностного флирта, и прочая запоздалая пубертатная чепуха, тут же становились ненужными – очевидно, что из неё вышла бы замечательная жена, и я живо представил себе утренний поцелуй, который я с удовольствием донёс бы до её губ через все тернии ночных приключений. Я согласился бы повторять этот утренний ритуал вечно, т.к. он выглядел чрезвычайно естественно, достаточно картинно и совершенно безобидно – ничто не предвещало его возможного краха. Сила привычки, которую осмеивают пылкие, но простодушные поэты, на самом деле является сложнейшим биологическим механизмом, и подобрать лицо, подходящее для вечности, бывает гораздо хлопотнее, чем для страстного, но короткого мгновения, и лицо Вероники замечательно подходило для такого дела – совершенно независимо от моего предполагаемого возраста, прошедшего с момента знакомства времени или величины свадебного букета, брошенного ею в толпу сколько-то там воображаемых лет тому назад. Подробное исследование придуманного мной утреннего поцелуя выглядит совершенно излишним – достаточно предположить, что имели место и другие поцелуи, скрытые от моего воображения, и в тех, потайных поцелуях было уже всё необходимое для счастливого супружества, и порукой тому были чувственные губы Вероники, её замечательная

грудь и широкие бёдра, отлично приспособленные для исполнения супружеских обязанностей. Возможно, в рекламном явлении супружеского ложа была виновна не Вероника, а мои скрытые опасения собственной несостоятельности в других возможных ролях, или моё вечное стремление к полной систематизации любого мимолётного положения – я не буду оспаривать такой возможности, но и не буду настаивать на ней, т.к. в любом случае, супружество с обладательницей такого лица выглядит большой жизненной удачей для любого прохвоста, носящегося со своим непечным либидо по тёмным закоулкам собственных неудобоваримых снов. Брачная перспектива, вертящаяся у меня в голове некоторое время, стала медленно распухать, занимая собой весь расплывающийся горизонт моего любознательного сознания, затем несколько раз перевернулась таким образом, чтобы я мог рассмотреть её со всех сторон, и, наконец, бурно разрешилась небольшим иллюстрирующим видением – тело Вероники зачало, выносило и представило на мой суд крепенькое дитя, какое из-за скоропалительности галлюцинации и чрезмерной, совершенно выставочной безупречности младенца, я отнёс к той умильной абстракции, какую принято именовать потомством. То, что потомство могло бы оказаться именно моим, придавало предположению опасный привкус, и я лишь слегка коснулся этой природной шарады, т.к. разгадка была слишком

очевидна и довольно заманчива – множество простаков пытались безуспешно решить свои половые проблемы путем деторождения, но вряд ли им это удалось, разве что в одном удачном случае на несколько тысяч неудачных попыток. Коснувшись скользкой акушерской темы, я признал, что Вероника, или натурщица, или обе они вместе прекрасно справились бы с ролью роженицы – широкие бёдра, вместительный живот и крепкий зад выглядели отличной гарантией. Маленькая грудь не играла в этом деле особой роли – выкормить младенца вполне могла бы приходящая кормилица. Отбросив собственную биологическую робость, я признал, что будь я озабочен поисками матери для своего будущего дитя, я обязательно приметил бы Веронику, и даже попытался бы убедить её в разумности своего выбора – например, расточая ей вполне заслуженные комплименты, разбавленные упоминаниями о моих собственных достоинствах, главным образом, вымышленных. Признаться, я не так уж опытен в вопросах потомства, но готов говорить на эту тему часами – обычное дело для неофита, напавшего на золотую жилу общедоступных рассуждений. Я полагаю, что деторождение не более чем один из тупиков безысходного полового лабиринта, в который все мы попадаем помимо своей воли, но моя наивность сродни ловкому исследовательскому приёму, и я намерен носить специально изготовленные для этого случая шоры до самого конца своих жизненных

злоключений, какими бы пресноватыми они ни оказались от недостатка известных на любой кухне приправ. Я достаточно хитёр, чтобы сообразить, насколько облегчается существование исследователя, мрачные мысли которого неожиданно заглушаются требовательным младенческим воплем, но я не поддамся этому очевидному искушению – я, знаете ли, не слишком сентиментален. Справедливости ради скажу, что мои суждения часто бывают скороспелыми и поверхностными, и их пригодность носит несколько локальный характер – в случае с эротичностью лица Вероники я явно поторопился с вынесением вердикта. Это лицо в силу вышеуказанных причин мало подходило для короткого флирта, но для длительного эротического наслаждения оно, пожалуй, отлично годилось – я убедился в этом во время одного своего сна, на содержимом которого остановлюсь подробно. Этот упомянутый сон, прекрасный экспонат посещаемых мной зрительных галерей, по которым я научился ходить так осмотрительно, как умеет только много натерпевшийся на своём веку ночной взломщик, отличался от других, параллельных ему снов, своей мучительной длительностью, выразительностью чувственных деталей и обидной физиологической безрезультатностью – я ожидал продолжения, но не дождался.

Глава 2

*Голая Вероника – любовная сцена в будуаре – сомнения чувствительного Ансельма – нескромная прогулка по ночному городу – эстетическое разочарование – ночная дуэль – следственная суматоха – практичный совет доброго полицейского чина – решимость Ансельма и свое-
нравное поведение газетного листа – обожжённый доктор*

Картина составила неспешное предисловие ко сну, и я, пробираясь через бесконечное преддверье, мог разглядывать её сколько угодно. Убаюканный бесконечностью предисловия, я едва не заснул – такие предварительные головоломки характерны для моих снов, мелководных вначале, но постепенно достигающих глубины порядочного омута, уже опасного даже для многоопытного сновидца. Каменный пол галереи обладал свойством запоздалой гулкости, т.е. мои собственные шаги отзывались не сразу, а с явной задержкой, причём звучали откуда-то сверху, хотя я могу поклясться, что клетчатый пол и подошвы моих башмаков находились точно внизу. Я слышал, что эхо было неестественно длинным – признаюсь, я впервые услышал эхо, *подвывающее* самому себе. Обнаружив в зеркальном тупике идущую сзади обнажённую

Веронику, я вздохнул облегчённо – пугающие завывания были всего лишь акустическим казусом, образованным мраморным шероховатым полом, крепкими подошвами башмаков, уютным шлёпаньем ночных туфель Вероники по её же пяткам и учащённым дыханием всех персонажей сна, включая и Ансельма, покинутого в опустевшем будуаре в самом начале галерейного зала. Я сделал вид, что не вижу преследования – отличная уловка, помогающая перескочить в какую-нибудь другую перипетию сна, минуя два-три наиболее неудобных поворота. Хитрость не принесла плодов, и Вероника продолжала идти за мной, понемногу ускоряя шаги. Мы вошли в будуар – конечно, тот же самый, из которого она появилась с минуту тому назад. Ансельма в будуаре уже не было, и только его тень, частично рождённая моим пристальным вниманием, постепенно рассеивалась за краем занавески, но уже совершенно исчезла к тому моменту, когда я повернулся к Веронике лицом – довольно сложный маневр, учитывая тесноту будуара и непредсказуемость лунатических движений, искусству которых обитатели снов обучаются как-то вдруг. Стоящая передо мной голая Вероника смотрела поверх моего плеча – отличная возможность вставить небольшую реплику. Мои воспоминания, несомненно, совершенно приличны. Пересказ неудобного сна требует от меня развязности, смелости и специального эпистолярного опыта – ничего такого у меня нет. Ещё не поздно

отделаться двумя-тремя намёками и перескочить дальше, к более безопасным эпизодам, но я рискну. Я ставлю на кон собственное умение передавать действительные, а не вымышленные события, своё знание слов, какими люди описывают свои восторги, а также будущую репутацию Вероники. В случае, если внутренности сна будут представлены мной вульгарно, ей вряд ли удастся оправдаться недоказанностью своего участия – временно исчезнувший Ансельм отлично годился на роль отложенного до поры свидетеля. Проще было бы пересказать для начала наш разговор – но хитрый сон содержал одно лукавое условие. Он не передавал звуков, кроме описанного выше эха шагов, так что разговора, пригодного для пересказа, не было. Я протянул руки к плечам Вероники, и она перевела взгляд на моё лицо – пожалуй, уже никакие отступления не представлялись возможными. Глухонемой сон, в точном соответствии с неисповедимыми путями природных компенсаций, обладал отлично разработанной способностью передавать прелесть прикосновений – мои пальцы, ещё не встретившись толком с плечами Вероники, подробно ощутили изумительную гладкость её кожи, точно отмерянное тепло, исходящее от её уютного тела, и легчайшую дрожь, пробегающую по её шее, т.е. всё то, что обычно остаётся незамеченным, когда дело происходит наяву. Мои руки двигались плавно, преодолевая внезапную упругость будуарного пространства,

и я вынужден был приложить усилия, чтобы прикосновение, наконец, состоялось. Коснувшись голого женского тела, я не почувствовал грубого возбуждения, какого можно было ждать от персонажа *жанровой* сцены – напротив, я ощутил умиротворение, тихий восторг и настойчивую нежность. Это было настоящим предвкушением, уже вполне осязаемым моими чуткими пальцами. *Я отдал бы последний миг жизни за то, чтобы немедленно коснуться губами вашей груди*, сказал я беззвучно, точно следуя строгим правилам сна, и Вероника, глядя на мои губы, рассмеялась – вернее, от её неслышного смеха мне досталась только мимическая часть. Возможно, она умела читать по губам, и мне стоило сказать что-нибудь ещё, т.к. произнесённая ранее банальность сработала лишь частично, и я вдруг стал бояться того, что могу быть вышвырнут из этого сна за свою медлительность или робость – такие неожиданные пробуждения случались со мной и раньше, принося с собой облегчение и разочарование, смешанные в пропорции, прямо зависящей от содержимого исходного сновидения. Но тогда я ни за что не пожелал бы проснуться, и готов был сделать что-то такое, чего не позволил бы себе в других, более неспешных обстоятельствах – я заключил Веронику в объятие, пылкость которого была несколько преувеличена из-за моего испуга быть изгнанным из многообещающего будуара. Я так явно ощутил, как груди Вероники коснулись моей груди, как если бы сам был голым, и вдруг увидел

свои обнажённые руки, обнимающие её узкие плечи – и ужас сковал меня с головы до ног. Будучи несколько не в себе, я представил вдруг, что обнимаю Веронику, находясь совершенно без всякой одежды, но в башмаках, подвывающее эхо от которых до сих пор блуждало по галерейным изгибам и даже заглядывало в будуар – я совершенно не представлял себе, как можно избавиться от таких добротных и тщательно зашнурованных башмаков каким-нибудь незаметным образом. Мучительные башмаки, справившись с ролью встроенного кошмара, исчезли сами собой, и не досаждали мне более – до тех пор, пока я не обнаружил их в ящике для поношенной обуви спустя год после событий в будуаре. К моменту их пыльной реинкарнации моя жизнь успела перемениться, и эти непрошенные вестники былого доставили мне несколько приятных минут – они напомнили мне о счастливой безмятежности, с какой я обнимал плечи Вероники. Рискуя прослыть фетишистом, я сохранил эти удобные башмаки, как напоминание о прекрасных мгновениях, и, должно быть, они до сих пор прячутся в каком-то углу – но мне, слава богу, уже не требуется их дружеская поддержка. Возвращаясь к описанию сна, я не могу не упомянуть тень Ансельма, которая вела себя подобно докучливому ухажёру – уже совсем исчезнув, она, тем не менее, ещё несколько раз заглядывала в будуар, и только строгое расписание сна не позволило этой тени вмешаться в события, и тем избавило

меня от возможного скандала, а саму тень от взбучки, которую я запросто мог устроить для неё в том своём чувствительном состоянии. Сапожный кошмар, посетивший меня в самый разгар нашего первого объятия с обнажённой Вероникой, привёл к некоторому провалу в моей памяти – я совсем не помню, как относительно тяжёленькая Вероника оказалась в воздухе, и как её ноги цепко обхватили меня, усиливая и без того душное объятие – это ощущение излишней тесноты запомнилось мне некоторой тяжестью в пояснице, продолжавшейся несколько последующих ночей. Я с осторожностью перевёл своё объятие ниже, быстро миновал плавную неопределённость спины, вскользь пробежал пальцами по отличным, чётко обозначенным полушариям её зада, и остановил свои руки на бёдрах Вероники, придерживая их с некоторым усилием. Моё дыхание участилось от невольно выполняемой работы, и я подумал об ускорении действия – с малодушной целью облегчить своё почти акробатическое положение. Войдя в роль, я и сам оказался в воздухе, и совершенно перестал ощущать вес тела Вероники – можете мне поверить, что прелесть парения над полом только усиливается от такой приятной ноши. Не следует думать, что я, отвлечённый причудами законов тяготения, взявшими привычку капризничать именно в эротических снах, совсем забыл о цели тесного объятия – напротив, моё нетерпение и моё стремление к более удобному положению

моего тела были порукой тому, что я намеревался исполнять свою роль со всей пылкостью, отведённой мне природой, и даже как-то преумножить её за счёт ресурсов самого сна, имеющего всяческие возможности для поощрения собственных персонажей. Но наше положение в воздухе, несколько чересчур упругом и одновременно каком-то ватном, мешало мне с уверенностью начать любовные действия, и тесное объятие некоторое время продолжалось без видимых результатов – я не смог бы утверждать с уверенностью, что уже *проскользнул* в лоно Вероники. Такие косвенные улики, как её закрытые глаза, учащённое дыхание и крепко сжимающие меня бёдра, скорее всего, ничего не доказывали, т.к. я совершенно не знал привычек своей новоиспечённой любовницы, её представлений о приличиях или особенностей её любовного темперамента – признаться, я посчитал ситуацию несколько двусмысленной, но постарался извлечь как можно больше удовольствия от нашего *ангельского* объятия, насколько это позволяла его удушающая теснота, сильно ограничивающая мои возможности. Я попытался поцеловать губы Вероники, но её откинутаая назад голова, её улыбка, её дыхание – всё это делало поцелуй затруднительным, и даже излишним. Немного боясь уронить Веронику, я теснее прижал её к себе одной рукой, и с целомудрием постороннего исследователя стал продвигаться свободными пальцами к её лону – мне просто необходимо было убедиться

в его существовании. Мои исследования были великодушно прерваны установленным ходом сна – мы, не разжимая объятий, опустились на будуарное ложе, которое оказалось точно подходящим под тяжесть наших тел, и я получил, наконец, возможность показать любовные навыки. Решив некоторое время не обращать внимания на реакции Вероники, и избавившись, тем самым, от стеснения наблюдаемого, я довёл объятие до конца – в том смысле, что моё проникновение в Веронику уже не вызывало у меня сомнений. Короткий миг хищного восторга, относящийся, скорее, к завершённому действию внутри сна, чем к прекрасной Веронике, сменился приливом спокойной радости, т.к. я чувствовал, что меня ждёт длинная и прекрасная ночь, одна из тех ночей, что выпадает нам как бы случайно, но всегда бывает подготовлена другими, менее счастливыми ночами, т.е. может рассматриваться чем-то вроде награды за долгое безропотное терпение, за прошлую неудачливость в таких делах, и за тот риск, которому мы подвергаем себя в поисках счастья – возможно, именно надежда на такие особенные ночи и поддерживает в нас непрочные рефлексы. Если бы сон не был немым, то именно в этот миг должна была зазвучать музыка – до финальных фанфар было ещё далеко. Несколько обстоятельств, которые я был не в силах изменить, исподтишка пытались помешать мне насладиться Вероникой так, как я бы мог сделать это

при *полном уединении* – я имею в виду довольно яркое освещение будуара, немного театральное поведение тени Ансельма, временные отключения сил притяжения и прочее, включая моё собственное желание хорошо исполнить мою роль. Будучи полноправным и важным персонажем сна, я, тем не менее, оставался наблюдателем – эта удобная форма участия в событиях, предназначенных для публики, но в случае с будуаром, когда всё происходящее томилось на самой грани приличия, такая двусмысленность приводила к большим неудобствам. Попросту говоря, я сам смущал себя собственным присутствием, как будто точно знал, что мне предстоит держать неизбежный ответ за своё поведение – обычное дело, когда строгая, отлично натасканная дуэнья, а именно многолетняя привычка к наблюдению за собой, подаёт реплики в самый неудачный момент. Слава богу, что я ни в малейшей степени не мог заподозрить в актёрстве саму Веронику, иначе сон закончился бы мгновенно, при первом же фальшивом вздохе, при ничтожнейшей телесной лжи, при любом легчайшем жесте, который мог бы быть истолкован как пантомимический трюк. Но Вероника не давала мне никаких поводов к подозрению – напротив, вспоминая на следующий день весь сон от начала и до конца, я посчитал, что она вряд ли была даже полноценным персонажем, т.к. её роль, лишённая реплик, с ограниченными движениями тела и с неопределённой длительностью пребывания в будуаре

могла быть истолкована в том же смысле, что и роль любой другой декорации этого сна, необходимой для действия, но остающейся неизменной при смене действующих лиц. Это досадное предположение о возможной, пусть и вынужденной, неверности Вероники отравило мне вторую половину дня, следующего за сном, и я всерьёз решил было вычеркнуть его из своих воспоминаний, как событие излишне тревожное и даже вредное, и только моя врождённая деликатность, моя вера в презумпцию невиновности в адюльтерных делах и моя героическая расчётливость дружно остановили меня в самый последний момент, когда пламя забвения уже готовилось пожрать мучительное тепло лона Вероники и спасительную прохладу её дыхания – вместе со всем тем, с чего начиналась эта история. Ограниченное участие Вероники, её некоторая отстранённость от сюжета сна и её невнимание ко мне – всё это могло быть выдуманно мной позже, с мелочной целью оградить себя от ненужных обязательств, от возможной будущей привязанности к её непрочному фантому, и от тех слов, которые мне хотелось ей сказать. Возможно, под влиянием наступающего блаженства я был бы довольно косноязычен, но в определённые моменты даже невнятное бормотание, исходящее от самого сердца, звучит достаточно благозвучно – всё дело тут в точно подобранных интонациях. Упомянутое мною блаженство не просто ловкий оборот речи или преувеличение –

я впал в то редкое состояние, когда проклятые шипы внешнего мира, так щедро украшенного поддельными преувеличенными цветками, уже не могли дотянуться до моих чувствительных нервов. Я погружался в нежнейшую обволакивающую бездну, с удивительно точно подобранным количеством тепла, с обитыми тончайшим шёлком стенами и с легчайшими вибрациями поверх успокаивающей неподвижности – и капризное сопротивление этому погружению, судорожные попытки спастись, природная трусость и страх перед возможными последствиями, всё это постепенно становилось неважным, покорно уходило прочь, в какое-то второстепенное ответвление той же бездны, что медленно и неуклонно поглощала меня самого. Но и в этом моём состоянии, так явно отдающем каким-то первобытным внутриутробным уютом, я не утратил способности наблюдать за собой – с тем неудобством, что острота моего зрения размывалась миллиардами химических хищников, атакующих мой счастливый мозг, или то, что бывает вместо мозга в головах у подобных мне удачливых сновидцев, которым выпадают такие замечательные ночные приключения. Мои объятия были совершенно искренни, мои поцелуи были нежны и страстны, мои телодвижения были целомудренны и настойчивы – одним словом, я прекрасно справлялся с тем утончённым, почти балетным дивертисментом, что достался мне как бы случайно, но с каким-то далеко идущим умыслом, который

ещё предстояло разгадать, но в другое время и при других обстоятельствах. Прелесть этого далёкого сна, сильно приукрашенная моей благодарной памятью, ведёт меня в тупик бесполезного многословия – собственно говоря, я пытаюсь сказать совсем простую вещь. *Я наслаждался телом Вероники, но не придавал большого значения тому, что это было именно её тело.* С некоторым смущением я берусь предположить, что мог бы не заметить подмены, будь она сделана достаточно аккуратно – в одну из тех пауз, когда я достигал дна упомянутой бездны, и отвлекался на некоторые усилия, необходимые для подъёма наверх, с единственной целью продолжить великолепное падение. Несомненно, Вероника служила украшением сна, она была прекрасна и т.д., но справедливости ради замечу, что за один неполный день, проведённый мной в городе, я вижу десятки женских лиц, не уступающих лицу Вероники в притягательной силе, и сотни женских тел, живописность которых не может быть скрыта хитро сшитыми одеждами, и эти тела вполне могут быть куда более совершенны, чем тело Вероники, и кто знает, не было ли бы моё блаженство ещё более полным, будь у меня совершенно свободный выбор – представляю, в какую постыдную вакханалию был бы превращен мой целомудренный сон такой предполагаемой свободой. Но и без того я побывал на самом вершине блаженства – в моём случае затасканное указание на вершину выглядит предельно точным. Это

была лишь эмоциональная вершина, т.к. иллюстративное содержимое моего сна было довольно однообразным, и состояло, в основном, из подробно описанного мной тесного объятия, из нескольких моих безуспешных попыток изменить положение наших тел, из однообразных обоюдных движений и из двух-трёх поцелуев, которые мне более или менее удались – один из них пришёлся в грудь Вероники, и я с некоторым бахвальством вспоминаю о проявленной мной гибкости шеи и изворотливости спины. Сторонний наблюдатель вряд ли извлёк бы для себя что-то новое в смысле изощрённости любовных ласк из описанного будуарного эпизода, но будь он способен оценить степень и накал чувств, то, скорее всего, он проникся бы ко мне завистью – разумеется, если бы он был подходящего пола. Я с благодарностью вспоминаю этот сон, но кое-что отравляет мои воспоминания, т.к. пробудившись уже почти полностью, уже покидая будуар, уже всюю подталкиваемый в спину твёрдой рукой утренней торопливой жизни, уже наяву услышав собственный стон и тысячеголосое бормотание пробудившегося города, я клянусь, что краем сонного зрения, уже утратившего волшебную ночную остроту, увидел, что Вероника продолжает раскачиваться в воздухе, прикрыв глаза и обхватив ногами мою исчезающую тень, или тот заменитель тени, что обычно применяется в снах, и как будто совсем не собирается прекращать свою роль – признаться, несмотря на подступающую

досаду, я посчитал такое положение удобным на тот случай, если мне ещё доведётся вернуться в этот замечательный во всех отношениях будуар. На её лице не было никаких следов разочарования или удивления, ничего такого, что указывало бы на моё исчезновение – а ведь я не только был причиной её ночного счастья, но и полноправным владельцем сна – вместе с предысторией, возможными последствиями и продолжающей висеть в воздухе Вероникой. Именно её показная безучастность, отнесённая моим задетым самолюбием к моему же исчезновению из будуара, и заставляет меня считать это ночное происшествие безрезультатным, несмотря на мою зримую утреннюю готовность продолжить сновидение наяву – в том, разумеется, случае, если подмена некоторых персонажей и главных декораций не была бы чересчур заметной. Теперь я готов признать, что кое-что в этом моём сне отдавало выдумкой – к примеру, подробно разглядывая картину вечером следующего дня, я не мог не заметить, что пропорции тела Вероники были сильно искажены моим спящим воображением, и мне вряд ли удалось бы так долго держать на весу настоящую Веронику, учитывая размеры её невидимого мне зада и полноту отлично прописанных на картине бёдер. И ещё, пожалуй, меня подзуживало любопытство, и мне, с каким-то лукавым простодушием, присущим, по моим наблюдениям, скучающим от безделья отставным сыщикам или чрезмерно

занятым директорам второсортных платных школ, хотелось спросить Веронику, а хорошо ли я справился с отведённой мне ночной ролью, и этот совершенно бессмысленный вопрос вертелся передо мной некоторое время, мешая мне приступить к обязанностям наступившего дня, и так уже сильно отодвинутого предшествующей длинной ночью. Но постепенно, через какой-нибудь час после завтрака, зуд любопытства стих, и я похвалил себя за то образцовое благоразумие, с которым я наотрез отказал самому себе в такой очевидной возможности выудить ответ на мучавший меня вопрос, как возвращение в сон с помощью снотворной таблетки. И чтобы покончить с этим сном, в котором я, похоже, готов барахтаться бесконечно, я скажу, что и лицо Вероники, и сама она, и запах её волос, и вкус её кожи, и её неслышимый мною голос, и всё прочее – всё это несомненно подходило для обезличенных чувственных наслаждений, для изошрённых и продолжительных ласк, для прекрасного счастливого времяпрепровождения, и я мог бы понять это без всякого сна, будь я хоть немного опытнее в таком деле. Я не хочу заронить сомнение в способности Вероники к настоящей близости, когда физическое тесное объятие чудесным образом превращается из неудобного обстоятельства в необходимое условие волшебной алхимической процедуры, рождающей совершенно новое существо из двух исходных тел – обычный результат окончательного слияния двух предварительных масс в одну,

уже вполне достаточную для волшебства. Я уверен, что прекрасная Вероника была задумана художником как идеал, а это, конечно, подразумевает утончённость и возвышенность, проявляемую таким идеалом в любовных делах, и сомнения тут, скорее всего, во мне самом. Скоропалительность нашего будуарного приключения, моя эмоциональная скованность и звуковые странности сна – всё это помешало мне предстать перед Вероникой в лучшем свете, т.е. блеснуть теми своими способностями, которые могли быть проявлены мной в том случае, если бы я был представлен ей по всей форме. Например, её вполне могли бы заинтересовать мой поверхностный, но вполне добродушный взгляд на мир, или мои собственные суждения об этом мире, или даже моё безобидное враньё, которым я непременно украшал любое своё знакомство, имеющее какие-то любовные перспективы. Через два-три свидания она вполне могла бы привязаться ко мне настолько прочно, что моё исчезновение из будуара уже точно не осталось бы незамеченным – возможно, на её лице проявились бы растерянность или грусть, и я допускаю, что Вероника могла бы заплакать от такого моего неучтливового поступка. Именно её слёзы, выдуманные мной как месть за обидное предположение о моей собственной второстепенности в будуарной сцене, могли бы быть достаточным подтверждением моего успеха – любовные удачи, выпадающие нам в снах, редко переключиваются

в дневную жизнь. Я готов был позавидовать тому счастливцу, на которого падёт *настоящий* выбор прекрасной Вероники – удивительно, но такая зачаточная зависть сильно преувеличивала прелесть ночного инцидента, а также приукрашивала лицо и тело Вероники, и через некоторое время, посвящённое самоистязанию, я уже готов был поклясться, что люблю Веронику – слава богу, я отлично знал цену собственным клятвам. Конечно, в силу своей житейской опытности, я слышал о необходимости вранья в любовных делах – такие приёмы, как изысканные спиралевидные метафоры и круто уходящие вверх гиперболические комплименты, отлично годятся в любовных признаниях, и никому не приходит в голову осуждать пылкого ухажёра, смело сравнивающего несколько округлённое лицо своей возлюбленной с таинственной луной. Такое враньё никому не причинит вреда, и его следует признать не только разрешённым, но даже необходимым, как бывают необходимы приправы к привычным кушаньям – в некоторых странах издают специальные брошюры с отличным выбором словесных оборотов, пригодных для соблазнения и дальнейшего удержания жертвы. Счастливцы с отлично отлаженным, вполне здоровым организмом, с великолепно действующей циркуляцией гормонов, с чистым сознанием и приличными фантазиями могут обойтись без преувеличений, но я, в силу своей чувствительности, никогда не мог обходиться

в любовных делах без самодельных, но абсолютно искренних преувеличений. Воображение людей, обходящихся без вранья, я сравнил бы с учителем риторики, подающим образцы затасканных реплик с большими, удобными для усваивания материала, паузами, тогда как воображение человека чувствительного – это сумасшедший дирижёр, размахивающий целой тысячей талантливейших рук перед пустой оркестровой ямой. Но сила безумного мастерства представленного нам дирижёра бывает такова, что места за пюпитрами вдруг сами собой начинают заполняться таинственными химическими субстанциями, и воодушевлённый маэстро каким-то невероятным усилием ещё увеличивает скорость и размах своих движений – тут важно не перестараться. Кстати, смирительная рубашка морали всегда находится у меня под рукой – к примеру, свободы моего собственного воображения хватало лишь на то, чтобы представить себе Веронику, оправдывающуюся за свою рассеянность в будуаре, расточающую преувеличенные комплименты моим достоинствам и клянущуюся мне в любви и верности, но уже недоставало на продолжение действия, т.е. я совершенно не мог представить себе, что я буду делать с такими клятвами потом, к примеру, через пару недель. Всё это говорило о моей недостаточной готовности к настоящей близости с Вероникой, что не мешало мне мысленно требовать от неё всяких знаков внимания – будем считать,

что ископаемые останки младенчества в моей душе всё ещё подавали требовательный голосок. Пожалуй, всё это было слишком сложно для меня, так что даже сейчас, вспоминая собственные воспоминания, я чувствую себя немного большим резонёром, чем мне бы хотелось – легко впасть в сентиментальную болтливость, рассуждая о женской любви. Перейдя от болтовни к холодной констатации, я утверждаю, что однажды увидел лицо Вероники на картине в далёком своём детстве, после несколько раз видел его вновь при разных обстоятельствах, и наконец увидел его окончательно – в том смысле, что картина принадлежала мне по праву наследства. Мои поиски этого лица на ночных улицах, мои обманчивые удачи и мои вечные промахи – всё это, пожалуй, обычное дело для праздного и несчастливого человека. Я утверждаю, что лицо Вероники не вызывало у меня особых эмоций, вроде эротического оживления, дружеской привязанности, эстетического восторга или гуманитарного сочувствия – это лицо делало все перечисленные эмоции ненужными, так как при взгляде на него, даже совсем мимолётном, внутри меня возникала прозрачная бездельная безмятежность, с легчайшим, но очень отчётливым порнографическим душком, и такой взгляд вызывал странное удовольствие, какое бывает у человека, глядящего в долину с верхушки ненужной ему горы, но вполне удовлетворённого таким своим положением и не желающего думать над тем, каким

таким ветром его сюда занесло, и каких усилий будет стоять ему неизбежный в будущем спуск в обыденность. Увлекательный сон, или увлекательное воспоминание о сне, или увлекательный рассказ о воспоминаниях – всё это отлично отвлекло меня от других, ни таких приятных воспоминаний. Мало найдётся охотников умышленно выставлять себя в неприглядном виде – именно об этом и пойдёт речь. Я был уверен, что в самых сложных состояниях моей души сумею найти способ удерживаться в рамках приличий, но действительность оказалась таким беспощадным экзаменатором, что я, пожалуй, провалил испытание – я не выходил из комнат по несколько дней, отговариваясь выдуманным недомоганием, которое постепенно переставало быть выдумкой. Я стал бояться своих ночных прогулок, и тому были причины почти что криминального свойства. Поздним вечером одного ничем не примечательного дня я предпринял свою обычную прогулку – город, начисто вымытый коротким истерическим ливнем, выманил меня из квартиры, и я ступал прямо по лужам, в которых вдребезги разлетались отражения фонарей, и сырой воздух, перемешанный с мельчайшей водяной пылью, кружился вокруг меня всякими причудливыми водоворотами, подгоняемый опоздавшим ветром, злым от собственной нерасторопности. Деревья, чёрные от воды, были покрыты невесть откуда взявшимся золотым светом, и совершенно пустые улицы

раскачивались в такт его мерцанию, и упомянутый ветер играл на чёрных ветвях тонкую, пронзительную мелодию – расчувствовавшись от живописности происходящего, я отчетливо сожалел о своей неспособности как-то удержать эту мимолётную партитуру. Мне оставалось пройти два-три квартала из половины намеченного мной пути, когда я увидел впереди себя фигуру женщины, скупо освещённую фонарём, и от этого непрочного света её тень, крадущаяся вдоль стен, то съёживалась книзу, пригибая голову к самой панели, то вытягивалась вверх, почти достигая невидимых крыш, и становилась от этого вовсе без головы – голова тени терялась там, куда не достигал свет от экономно устроенного городского освещения. Отчётливый звук её каблучков, отбивающих таинственный ритм, привёл меня в неопишное волнение – я явственно услышал стук собственного сердца, и предчувствие удачи вспыхнуло в голове, опускаясь ниже, к сердцу, и затем ещё ниже, так что я почувствовал что-то вроде желудочного спазма, попутно сжимающего всего меня, но не настолько сильно, чтобы я не смог ускорить свои шаги, постепенно перейдя на почти неприличный бег. Силуэт женщины, которую я взялся преследовать, был, пожалуй, несколько показным – крепкая спина переходила в тончайшую талию, затем следовали широкие бёдра, подчёркнутые особым покроем юбки, напоминающей перевёрнутый с ног на голову винный бокал, затем уже шли ноги, крепкие выше колен, но постепенно

утончающиеся к низу, где невероятно высокие каблуки исполняли свою тревожную пародию на стук моего сердца, и всё это находилось в постоянном, точно выверенном движении, не дающем моим глазам разглядеть фигуру женщины как следует. Мои шаги, невероятно быстрые для ночной прогулки, должны были её как-то насторожить – я чувствовал, что она слышит их отзвук. Но разделяющий нас кусок улицы, изменчивый в силу разнообразия сопутствующей архитектуры, никак не хотел сокращаться, и в этом была какая-то пространственная ошибка – я шёл много быстрее её, и в обычном, математическом смысле, должен был настигнуть женщину не менее минуты тому назад, но по прежнему был так далёк от цели, что едва мог различить грань, где её настоящее тело переходило в смутную тень, и это преследование затянулось настолько, что я перестал узнавать места, по которым мы шли. Как-то вдруг почти исчезли фонари, и мне приходилось довольствоваться скудным светом, исходящим из окон тех домов, где обитатели ещё не отошли ко сну, и я несколько раз терял беглянку из виду – только стук её каблуков наводил меня на верный след. Наконец, я окончательно упустил её – я стоял посреди незнакомой мне улицы, по одну сторону которой лепились низкие второсортные постройки, а по другую стояли какие-то фабричные силуэты, с картинными трубами, с чугунной решёткой когда-то величественных ворот,

с пустыми оконными проёмами, заколоченными кое-где кусками всякой строительной дряни, оставшейся от каких-то прошлых времён. Положение было так нелепо, что я рассмеялся, гоня страх, досаду, разочарование и трезвую мысль, что добираться домой придётся уже в полной темноте и при отвратительной ветреной погоде – вымученный смех разбудил небольшое эхо, живущее меж фабричных труб, переполошил нескольких окрестных собак и немного привёл в чувство меня самого, и я уже было собрался окончательно уходить, на глазок определив верное направление, но тут заметил знакомую тень в покосившейся арке, ведущей во двор старого купеческого дома. Арка, особенно чёрная на фоне серой стены, выглядела довольно тревожно, и моё благоразумие подало некий знак, что-то вроде намёка – я ещё вполне мог бы уйти незамеченным, ступая на носках и задерживая дыхание, и уже после, миновав два-три поворота, перейти на быстрый уверенный шаг, каким обычно пользуются запоздалые прохожие из неробкого десятка. Но моя обычная нерешительность вынудила меня замешкаться и ещё раз взглянуться в арочный проём, и мои глаза, соревнуясь с проснувшимся воображением, извлекли из чёрноты арки ещё более чёрный мерцающий чулок и совершенно белую руку, вскинутую вверх, в застывшем жесте, то ли приветственном, то ли зазывающем – участь моей прогулки была решена окончательно. Я сделал несколько шагов

по направлению к зовущей меня руке, и увидел, что в глубине двора горят какие-то огни, и вдруг расслышал обрывки разговоров и треньканье простой музыки, и даже уловил какой-то совсем бытовой звук, вроде плача младенца или воплей ссорившихся обывателей – похоже, я набрёл на одну из тех скромных гостиниц, которыми когда-то славилась эта часть города, и остатки которых ещё попадались в проходных дворах, в странных кривоватых проулках, и в таинственных полуподвалах обыкновенных домов, входы в которые могли быть расположены где угодно, даже за несколько кварталов от самого дома, и такие архитектурные фокусы отлично привлекали постояльцев наряду с копеечной ценой ночлега. Я остановился, прислушиваясь к обнаруженной чужой жизни, и женщина, стоящая у стены, тихо засмеялась – этот смех, обрамлённый окружающей темнотой, старыми стенами и пятнами света на чёрном зеркале брусчатки, был несколько театральным, нарочито успокаивающим, и явно зазывным. Её лицо было скрыто полутьмой, царившей в пространстве арки, но я на всякий случай взгляделся повнимательней – к счастью, это лицо ничего мне не напоминало. Я посчитал, что женщина достаточно молода и хороша собой, и даже похвалил себя за настойчивость, с которой предпринял это ночное преследование, т.к. приключение, начавшееся с невинной прогулки, обещало вырасти в нечто большее, и мне уже всюю представлялись такие подробности, как

едва заметный запах серы в моей спальне, а также хорошо развитый гибкий хвост и аккуратные пикантные рожки, которыми будут украшены мои завтрашние воспоминания. *Не желаю ли я развлечься*, спросила меня женская тень, опуская белую руку, которой она опиралась на стену, и я тут же решил выставить себя опытным посетителем подобных мест – я тщательно прочистил горло и сплюнул со всей полагающейся в таком деле небрежностью, скрывая этим мою скованность или даже робость, вполне понятную в тёмных обстоятельствах. Как-то незаметно зашла речь о цене услуг – я совершенно не помню, чтобы я дал ей понять, что принимаю предложение, но и без этого она умело свела разговор к деньгам – признаться, я не силен в торге, так что можно сказать, что цена была просто назначена, и не показалась мне большой, т.к. примерно равнялась цене приличного ужина в ресторане средней руки. Понимая, что я вот-вот прикуплю совершенно неведомый мне товар, я предпринял попытку изменить положение в свою пользу – *позвольте*, сказал я, *позвольте мне точно узнать качество предлагаемого товара, а то не вышел бы кот в мешке, или ещё хуже, вроде товара залежалого и никуда не годного*. Слово *товар*, произнесённое мной дважды, окончательно растопило лёд недоверия, вполне обычный между покупателем и продавцом, и женщина предложила мне положить мою руку на её грудь, чтобы убедиться в первосортности предложения. Но я не поддался

на эту её уловку, зная, что любое моё прикосновение может быть расценено по совершенно неизвестному мне дополнительному прејскуранту, и предложил ей показать мне своё тело – естественно, по частям, т.е. соблюдая осторожность и общественные приличия. Она безропотно обнажила грудь – похоже, в её представлении это совершенно ничего не стоило. Я мельком взглянул на белое пятно предполагаемой груди, и высказал своё одобрение ничего не значащим хмыканьем. *Но вот хотелось бы взглянуть ещё на другие ваши прелести,* сказал я так развязно, что сам удивился свободе своего тона, и эта добрая женщина, не говоря ни слова, повернулась ко мне спиной, удачно сместившись немного в сторону, точно на окраину светового пятна, образованного далёким, но любопытным уличным фонарём. Она опёрлась плечом о край арки, и стала тянуть свою юбку вверх – медленно, осторожно и неуклонно, так что я заподозрил в ней определённые навыки. *Прошу вас, позвольте мне самому,* сказал я негромко, особенно не рассчитывая на успех моей просьбы, но женщина послушно оставила край юбки и опустила руки, чуть отстранив их от тела, чтобы мне удобней было предпринять задуманное. Я почувствовал, как меня растрогала её предупредительность, и тут же решил, что добавлю кое-что к той сумме, о которой нам предстояло сговориться – я уже не сомневался, что затеянное развлечение стоит своих денег. Некоторое время я простоял, глядя на её

спину, на её талию и на её ноги, потом взялся за край лёгкой, приятной на ощупь, юбки, и слегка потянул его вверх, стараясь не касаться тела женщины – время для этого ещё не пришло. Я, следуя своей привычке растягивать предвкушение, даже отступил на полшага назад, и случайно отпущенный мной подол колыхнулся в таком обречённом, бессильном падении, что я некоторое время не в силах был коснуться его вновь. Наконец, я подцепил ткань концом трости, и попытался приподнять импровизированный занавес, но скользкий подол трижды срывался с крючка, оставляя меня с неразрешённым стеснением в груди, с тлеющим неприличным вожделением и со слезящимися от напряженного ожидания глазами. *Пожалуй, так мы провозимся с этим до утра*, сказала владелица подола нетерпеливым тоном, и я, ухватив трость поудобней, одним движением задрал край юбки вверх, к самому её плечу, и отстранился немного назад, пытаясь разглядеть все подробности её строения – для этого мне пришлось наклониться ещё ниже и чуть подтолкнуть её в сторону фонаря легчайшим касанием свободной руки. Я чувствовал сильное возбуждение от собственной решимости и от запаха её простых духов, и уже принялся так отчётливо мечтать о коротком ночном счастье, так что чуть было не допустил промах – я собирался опустить трость и высказать своё полное удовлетворение от увиденного, но неожиданный порыв ветра качнул непрочный остов фонаря, и тот

засветил намного ярче, словно ветер стряхнул с него пыль, застилавшую половину света, и я смог увидеть зад женщины так отчётливо, как если бы освещение выставили специально – этот зад был несколько плосковат, имел форму скорее трапециевидную, чем округлую, и был густо покрыт гусиной кожей озноба, вызванного прохладой дождливой ночи, видимым отсутствием белья и незаконченным торгом. Признаться, то, что я увидел, не имело ничего общего с ванильными ягодицами изумительно правильной формы, копирующей внешнее совершенство какого-нибудь редчайшего плода, вкус которого я воображал себе мгновение назад, и который уже считал своей законной собственностью. Я с некоторым недоумением склонился ниже, ещё не веря своим глазам, которые могли быть как-то обмануты пятнистой темнотой, поощряемой разгильдяйством неустойчивого фонаря, и провёл так некоторое время, не решаясь прервать агонию собственного разочарования. Вдруг случилась какая-то мистическая банальность – я так долго смотрел на озябший зад своей ночной подруги, что он, повинувшись давнему пророчеству, принялся в ответ глядеть на меня. Кроме того, этот зад выглядел смущённым, т.е. обладал какими-то мимическими способностями, позволившими ему подавать мне знаки. Казалось, что этими знаками, каким-то невероятным образом дошедшими до моего сознания, её зад хотел оправдаться передо мной за свою нелепость, за свою

давно утраченную свежесть, и за ту убогую цену, которая могла быть за него назначена. Видите ли, он требовал от меня сочувствия. Но я был слишком сильно разочарован, и возможное сочувствие на миг поддалось законному возмущению – этого мига вполне хватило, чтобы вспыхнувшее в моём оскорблённом мозгу бешенное пламя лизнуло тёмный мир покосившейся арки, приютившей заключительный акт ночного приключения. Предательство, совершённое задом этой женщины по отношению к моему нежнейшему воображению, было тем более мерзким, что сопровождалось липким эмоциональным попрошайничеством, призванным совершенно лишить меня способности к защите. Ещё не веря в подлинность собственной руки, я вlepил этому обманувшему меня заду отменную оплеуху – звонкую каким-то особенным ночным звоном, от которого рассыпались на мельчайшие осколки все трогательные предвкушения, непрошеное возбуждение, сочувствие и проклятое любопытство. Темнота, удобно укрывавшая мир, мгновенно вывернулась наизнанку, и стало так светло, что я смог увидеть опасность – тень неслась из глубины двора, всё устройство которого теперь было видно совсем ясно, и пятнистая кожа лица бегущей тени была как на ладони, и толстая палка, летящая сама по себе, была роскошного вишнёвого цвета, и стук башмаков выдавал их цену. Оскорблённая проститутка вцепилась мне в плечо, норовя ткнуть в мои глаза растопыренной

ладонью – подлый приём тёмных подворотен, который не удался ей лишь по чистой случайности. Я ухватил её за волосы, отдирая от себя, и отпрыгнул в сторону с совершенно звериной предусмотрительностью – вишнёвая палка, разрезав воздух, ухнула в стену. Сумев, наконец, освободиться от хвата мстительной женщины, я выполнил роскошный пируэт, с поворотом всего тела на одной ноге и с особым, точно отмерянным шагом в сторону, позволившим мне прочно опереться на вторую ногу и сделать отличный фехтовальный замах. Я ловко огрел нападавшего негодяя тростью по затылку, отчего тот охнул, отскочил от меня и завалился куда-то вбок – путь к бегству был открыт. Я бросился прочь так резво, как только позволяли скользкие камни мостовой, и уже успел свернуть за спасительный угол какого-то достаточно укромного здания, как трость, выскользнув из торопливой руки, покатилась по брусчатке с предательским рассыпчатым стуком, выдавая направление моего бегства. Эта утерянная трость, снабжённая некими инициалами, впоследствии едва не стала причиной моего разоблачения, и только холодная решительность, с которой я отказался признавать эту трость за свою вещь, не позволило разбирательству набрать ход. Нелепые обвинения, выдвинутые против возможного владельца трости, были вовсе нешуточными – дело могло закончиться разорительным денежным штрафом, или даже тюрьмой. Под угрозой возможного суда я признал, в конце

концов, что трость принадлежала мне, но уверял, что она была украдена у меня как раз накануне той ночи, когда некий муж, вступившийся за честь своей жены, был почти что изувечен нападавшим – запутанная история, ставшая совершенно непроходимой после моей ловкой выдумки о несуществующем воровстве. Полицейский сыщик, специально выделенный для этого дела, не чурался театральных эффектов, и я несколько раз примечал его, бродящим вокруг моего дома, причём в разной одежде и даже со следами грима на лице – дважды он прикидывался бродячим торговцем всяким хламом, один раз предстал в образе пьяного прохожего, якобы спутавшего ворота, и ещё как-то, поздним вечером, я увидел его долговязую фигуру, склонившуюся к мусорной корзине, в которой он ковырял той самой подозрительной палкой, выуживая ею всякие бесполезные мелочи. Я решил, что мои вечерние прогулки следует прекратить на время, и проводил часы перед сном, сидя в глубине балкона и наблюдая за жизнью хлопотливой улицы, сам оставаясь совершенно незаметным для случайных прохожих и неслучайных соглядатаев. Но окончательно отсидеться мне не удалось, и я был вызван в полицейское управление специальной телеграммой, в которой указывалась совершенно смехотворная причина такого внимания ко мне – в ней сообщалось, что заявленная мной пропажа обнаружена, и мне следует без промедления получить её в таком-то номере и у такого-

то чина. Ночью, следующей за вручением телеграммы, я не сомкнул глаз, обдумывая каждое слово, которое мне предстояло произнести, и к утру у меня были отличные заготовки на случай любых, самых неприятных, вопросов. Я решил, что буду прикидываться умалишённым – конечно, не окончательным сумасшедшим, который не может отличить дверь от окна, а эдакой слегка свихнувшейся университетской крысой, что путает день с ночью, шляпу с ботинками, и увесистую затрещину с дружеским шлепком. Встретивший меня сыщик был настроен по-домашнему благодушно, и не стал отрицать, что прибегнул пару раз к маскировочным приёмам, знакомясь с местом моего обитания, и мы вместе посмеялись над его мусорной выдумкой, которая казалась ему особенно *ловкой уловкой* – честное слово, он выразился именно так. Трость, которую он попытался всучить мне с далеко идущими сыщицкими планами, сиротливо осталась лежать на его столе – я смотрел на неё равнодушно, насмешливо дёргал плечом всякий раз, когда настойчивый сыщик вновь и вновь указывал на вырезанные на ней инициалы, и сдался, наконец, с большим достоинством. Я повторил всю эту чушь с украденной у меня тростью, и в тот самый момент, когда гончие сыщицкие глаза, вполне довольные удачным концом погони, уже нацеливались в самое моё сердце, я предложил ему взятку – приличную, надо сказать, сумму денег. Дело тут же завертелось с некоторым

даже удальством – буквенные совпадения были списаны на теорию вероятностей, лживые свидетельские показания полетели в прожорливый казённый камин, подготовленная солидная взятка юркнула в пиджачный сыщицкий карман и наше расставание с сыщиком было таким дружеским и окончательным, что его прощальные слова остались вроде бы незамеченными мной, но как-то зацепились, прижились и всплыли поздним вечером, уже перед самым сном. *Повидал я всякого человеческого сора*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.